

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА:
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ:
МЕЖДУ СКОРБЬЮ ПО УТРАТАМ И РАДИКАЛИЗМОМ
(отв. ред. – Э.-Б.М. Гучинова, В.А. Шнирельман)**

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАВМА И ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ

В.А. Шнирельман

Виктор Александрович Шнирельман | <http://orcid.org/0000-0001-8469-6583> | shnirv@mail.ru | д. и. н., главный научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Ключевые слова

Россия, травма, социальная память, глорификация, виктимизация

Аннотация

История России наполнена трагедиями и, безусловно, травматична, причем эти трагедии относятся к разным хронологическим периодам, связаны с различными крайне болезненными процессами и затрагивают очень разные группы населения. Эта тематика раскрывается на примерах судеб людей, угнанных в Германию во время Второй мировой войны, депортированных калмыков и бывших обитателей Валаамского монастыря. Также обсуждается память народов Северного Кавказа о Кавказской войне и своеобразная казачья историческая память. В тематический блок вошли статьи Э.-Б.М. Гучиновой, Е.А. Захариной и Е.Ф. Кринко, Е.А. Мельниковой, В.А. Танайловой, В.А. Шнирельмана.

Информация о финансовой поддержке

Статья публикуется в соответствии с планом НИР ИЭА РАН

Травма, связанная с масштабной катастрофой, оставляет глубокий шрам в сознании общества. Такая травма может породить и нарратив, и полное молчание. Как факт коллективного восприятия она вызывает сильные эмоции и опирается на множество символов, к которым прибегают как воображение, так и социальная практика. Иной раз столкновение кардинально разных взглядов на прошлое ведет к конфликтам (Шнирельман 2021).

Травматическая память отличается гетерогенностью: во-первых, она оставляет разные следы в разных группах (социальных, поколенческих, гендерных, этнических, расовых, конфессиональных) и разных нациях, а во-вторых, содержит различные интерпретации и оценки в зависимости от социального опыта и установок отдельных индивидов. Травматическая память предполагает как глорификацию, так и виктимизацию, которые имеют разные функции.

Статья поступила 15.09.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.11.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Шнирельман В.А. Социальная травма и особенности памяти // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 5–10. <https://doi.org/10.31857/S0869541523010013> EDN: PKYSPR

Shnirelman, V.A. 2023. Sotsial'naiia travma i osobennosti pamiati [Social Trauma and Specifics of Memory]. *Этнографическое обозрение* 1: 5–10. <https://doi.org/10.31857/S0869541523010013> EDN: PKYSPR

Д. Лакапра писал о “базисной травме”, легитимирующей “миф о происхождении” (*LaCapra* 2014: XII–XIII). Перефразируя этот тезис, можно сказать, что перенесенная тяжелая травма заставляет людей постоянно напоминать окружающим о весомом вкладе своих предков в развитие России, чему и служит глорификация. Ведь если в отношении христианской цивилизации Д. Лакапра имеет в виду миф об Адаме и Еве, то в случае советской эпохи речь идет о реальных жестоких гонениях, что и вынуждает людей прилагать бесконечные усилия для своей реабилитации, ссылаясь на беззаветную службу России как свою, так и своих предков. Впрочем, и Д. Лакапра вспоминает о реальных травмах – о Холокосте и атомной бомбардировке Хиросимы, вытеснивших и заменивших все предыдущие и ставших новым “мифом о происхождении” (*Ibid.*: 81). Он говорит также о непроходящем чувстве вины у выживших, заставляющем их с удвоенной энергией прославлять и даже сакрализировать погибших.

Взяв за основу работу Фрейда “Печаль и меланхолия” (*Фрейд* 1998: 211–231), Д. Лакапра развил размышления автора о двух кардинально разных видах памяти об умерших. Один, названный беспредельной грустью (меланхолией), ведет к тому, что люди сознательно не желают выбираться из глубокой травмы и сопротивляются возвращению к нормальной жизни, считая, что это будет предательством по отношению к погибшим. В таком случае в сознании человека трагедия никуда не уходит, и прошлое как бы продолжается. Фрейд связывал меланхолию с “глубокой страдальческой удрученностью, исчезновением интереса к внешнему миру, потерей способности любить, задержкой всякой деятельности и понижением самочувствия, выражающемся в упреках и оскорблениях по собственному адресу и нарастающем до бреда в ожидании наказания” (Там же: 212). Если это затрагивает целую группу, то может стать основой для ее идентичности. Причем среди особенностей меланхолии Фрейд называл нарциссизм, который можно увидеть в неизбывном желании некоторых групп людей подчеркивать свою значимость путем возведения все новых и новых памятников.

Другой вид – Фрейд называл его печалью – связан с примирением с тяжелой утратой и возвращением к реальности. Иногда этому служит принесение искупительной жертвы, помогающей несколько отстраниться от травмы, оставив ее в прошлом, и вернуться к жизни, сохраняя уважение к ушедшим. Для этого организуются ритуалы поминовения, скорбные процессии и даже карнавалы, а также ведется тщательная проработка прошлого, позволяющая дистанцироваться от него. Именно в этом контексте и следует рассматривать глорификацию и виктимизацию.

Наконец, нужно иметь в виду страх перед несуществующим, но воображаемым (структурная травма). Это тем более относится к пережившим ужасный опыт. Жертва никогда о нем не забывает и при случае готова о нем вспомнить, предполагая его повторение, причем такой страх может передаваться и следующим поколениям.

Кроме того, Д. Лакапра призвал вслед за Ф. Анкерсмитом проводить различие между “поиском истины” (“говорить истину”) и “правдивостью” (*LaCapra* 2014: 10–11). Первое он связал с научной деятельностью преданных науке ученых, а второе – с нарративами, учитывающими социальный, политический, религиозный и культурный контексты. Ведь истина не всегда приятна, тогда как правда отвечает чаяниям окружающей среды и оказывается более комфортной как для говорящего, так и для его слушателей. В такой ситуации самым сложным случаем становится превращение былого палача в жертву, что Д. Лакапра показал на примере деятельности Южноафриканской комиссии по поиску правды и примирению.

Наконец, в возрождении “советского стиля” в России начала XXI в. С. Ушакин видит не ностальгию, а “травматическую структуру памяти”, позволяющую “приблизиться к травме, не переживая ее” (Ушакин 2009: 17–18). Очевидно, то же явление можно усмотреть в стремлении некоторых людей или целых человеческих общностей прославлять исторические деяния своих предков.

В мировой науке эти проблемы рассматриваются прежде всего на примере Холокоста. Между тем история России, безусловно, травматична и переполнена трагедиями, причем эти трагедии относятся к разным хронологическим периодам и затрагивают очень разные группы населения. Речь идет не только о войнах и репрессиях, но и о голоде (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 гг.), об экспериментах по замене алфавита, сделавших значительные массы мусульман “безграмотными” и фактически лишивших их своей истории, о переселениях крестьян на восток и горцев вниз на равнины, о затоплении огромных областей при строительстве гидроэлектростанций и устройстве искусственных морей, о радиоактивном заражении местности, например на Южном Урале в результате выбросов завода “Маяк”, об уничтожении традиционных хозяйственных угодий в ходе интенсивной добычи нефти и газа, о негативном отборе, лишившем многих способных людей карьеры и т.д. Поэтому в данном тематическом блоке делается акцент именно на разнообразных травмах, выпавших на долю населения России, на их восприятии, а также на переживании их теми, кого они затрагивали. Показано, что травматическая память вызывает разные последствия – от умаления травмы или даже амнезии до ожидания/требования компенсации за перенесенные страдания. В последнем случае это может вести к радикализации группы и конфликтам.

Данный блок статей включает такие разнообразные примеры, как память о событиях Второй мировой войны (судьбы людей, угнанных на подневольные работы в Германию; воспоминания депортированных калмыков), память о столкновении церковных и светских ценностей (судьба Валаамского монастыря и его прежних обитателей), память о Кавказской войне, которая до сих пор тяжелым эхом отзывается на Северном Кавказе, а также казачий исторический нарратив, сочетающий память о гонениях первых лет советской власти с мифом о славных предках и территориальными претензиями.

В своей статье Е. Захарина и Е. Кринко детально рассматривают вопрос об “остовцах” – людях, насильно угнанных на принудительные работы в Германию во время Второй мировой войны и десятилетиями вынужденных скрывать этот факт от окружающих. Драматическая история “восточных рабочих” до сих пор воспринимается неоднозначно. Примечательно, что большинство памятников, посвященных их тяжелой участи, находится в Германии, а не на территории бывшего СССР, откуда людей угоняли. По словам авторов, “тема остарбайтеров практически не представлена в мемориальном пространстве России и других постсоветских стран; можно отметить лишь отдельные выставки и экспозиции”. Е. Захарина и Е. Кринко рассматривают три стратегии остовцев в отношении своего прошлого, вызывавшего вопросы окружающих и дискриминацию: 1) поиски стыдливой оправдания своего поведения в Германии и замалчивание фактов работы на военных предприятиях; 2) обвинения в адрес нацистского и советского режимов; 3) указания на участие в сопротивлении. Между тем подозрительное отношение к остовцам сохранилось, что заставляет их быть “молчаливыми наблюдателями”, а не “актерами мемориальной политики”. По заключению авторов, остовцы так и не получили “моральной и политической реабилитации”, и это подпитывало их травматическую память, мешая ее преодолению. Этот пример показы-

вает, как история порой ставит людей в двусмысленное положение, из которого трудно выбраться.

Основой статьи Э. Гучиновой служит интервью, взятое у одной из калмыцких женщин, переживших в детстве депортацию в Сибирь. На этом примере анализируются, во-первых, гендерные особенности памяти, а во-вторых, детское восприятие травматического опыта. Информант вспоминает не только поведение солдат, осуществлявших депортацию, драматическое путешествие в холодном вагоне, полную невзгод жизнь на чужбине, но и доброе отношение учителей, говорит о стремлении хорошо учиться. Отмечу, что последнее было весьма характерно для детей депортированных, пытавшихся этим преодолеть стигматизацию и постоянно навязывавшееся им чувство вины. Кроме того, как тонко замечает автор, депортация являла примеры неожиданного сочетания жестокости и милосердия, и это откладывалось в детской памяти. Упоминает Э. Гучинова также и о щадящей, сглаженной памяти, важным компонентом которой была амнезия – отвержение “стыдных”, омрачающих душу воспоминаний. Примечательно, что у калмыков речь идет о в значительной мере преодоленной травме, и нарратив оказывается вполне позитивным. Важен и вывод автора о том, что “индивидуальная (семейная) память мягче, гуманнее, а культурная память драматичнее”.

Следующий нарратив затрагивает затянувшийся и очень болезненный конфликт между церковными ценностями и культурным наследием, начавшийся в России в 1990-е годы. Анализируя случай Валаама, Е. Мельникова рассматривает его как “историю советской секуляризации и постсоветской десекуляризации”, что и отражается в социальной памяти. Изменение социально-религиозного статуса Валаама заставило прежних его жителей уехать оттуда, но они сохранили память об утраченном доме. Речь идет о позднесоветской интеллигенции, нашедшей на Валаама место фантомной духовной силы и утопического эскапизма, где люди приобретали особый “эзотерический опыт”. “Приход монастыря” сделал их жизнь там невозможной. Горечь об утрате настолько велика, что “ностальгический туризм” бывших жителей архипелага не привлекает, и они отказываются посещать это место. Ведь, как показывает автор, им важна не локальная, а социальная “элитная” идентичность, апеллирующая к разделяемой ими и ими же сконструированной духовности, которая расходится с церковными ценностями. А в нынешней официальной биографии Валаама места этим людям, усилиями которых было сохранено его культурное наследие, не находится. И это вызывает у них то самое чувство меланхолии, о котором писал Фрейд.

В. Шнирельман обращается к казачьей социальной памяти, где виктимизация сочетается с глорификацией. Тяжелая травма, связанная с утратой былых привилегий и территорий в советские годы, заставляла казаков конструировать древних предков с их славной боевой историей и государственностью, для чего они присваивали себе прошлое античных и раннесредневековых народов. Этот прием был в особенности характерен для казачьей эмиграции, не скованной жесткими требованиями советской цензуры. Но в постсоветские годы такие построения были с энтузиазмом подхвачены неказачьими идеологами. Однако такой нарратив заводит в тупик казачью идентичность, основы которой вызывают нескончаемые споры. Кроме того, он встречает протесты со стороны северокавказских народов, не без основания усматривающих в нем посягательства как на свое прошлое, так и на свою территорию. Иными словами, в данном случае травматическая память обнаруживает свой инструментальный конфликтный характер и используется для политических и территориальных претензий как компенсация за причиненные страдания.

В. Танайлова анализирует дискурс о Кавказской войне в социальных сетях как важный символический ресурс, способный вызывать радикализацию северокавказских обществ. Она видит в этом дискурсе важное коммуникационное пространство, обладающее мобилизационным потенциалом, и выявляет разнообразие нарративов о Кавказской войне, популярных в изучаемых обществах. Различия касаются и датировки войны, и ее ключевых участников, и ее героев, и главных сражений, и ее связи с современностью. Большие споры вызывает поведение Шамиля: как правило, чеченцы относятся к нему критически, а дагестанцы его защищают. Причем все эти споры значимы, так как затрагивают роль отдельных народов в истории и этническую идентичность их представителей.

Историческая травма порождает у обитателей Северного Кавказа комплекс жертвы, выступающий в форме виктимизации и требующий реабилитации и компенсации. Эмоции участников дискуссий направлены против жесткой колониальной политики Российской империи и против служивших ей кавказцев, которые представляются изменниками. А Кавказская война неизменно вписывается в историю национально-освободительного движения и воспринимается как славная страница своего прошлого. Она служит образцом сопротивления, и апелляция к ней нередко создает идеологическое обрамление конфликта.

Научная литература

- Ушакин С. “Нам этой болью дышать”? О травме, памяти и сообществах // Травма: пункты / Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: НЛЮ, 2009. С. 5–41.
- Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа: сборник. СПб.: Алетейя, 1998.
- Шнирельман В.А. Травматическая память: подходы к изучению и интерпретации // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 6–29.
- LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: John’s Hopkins University Press, 2014.

E d i t o r ’ s I n t r o d u c t i o n

Shnirelman, V.A. Social Trauma and Specifics of Memory [Sotsial’naia travma i osobennosti pamiati]. *Etnograficheskoe obozrenie*, 2023, no. 1, pp. 5–10. <https://doi.org/10.31857/S0869541523010013> EDN: PKYSPR ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS]

Victor Shnirelman | <http://orcid.org/0000-0001-8469-6583> | shnirv@mail.ru | Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)

Keywords

Russia, trauma, social memory, glorification, victimization

Abstract

Russian history is overloaded with numerous tragedies and is certainly a traumatic one. The tragedies took place in various historical periods, were caused by very painful processes, and affected special groups of people. The case studies are represented by people forcefully moved to Germany during the Second World War, the deported Kalmyks, and the former inhabitants of the Valaam monastery. A North

Caucasian memory of the Caucasian war as well as the Cossack memory are also discussed. The article introduces a special section of the journal's issue on "Traumatic Memory" with contributions by E.-B.M. Guchinova, E.A. Zakharina and E.F. Krinko, E.A. Melnikova, V.A. Tanaylova, V.A. Shnirelman.

References

- Ushakin, S. 2009. "Nam etoi bol'iu dyshat"? O travme, pamiati i soobshchestvakh [We Have to Live with This Pain: On Trauma, Memory, and Communities]. *Travma: punkty* [Trauma: Points], edited by S. Ushakin and E. Trubina, 5–41. Moscow: NLO.
- Freud, Z. 1998. *Osnovnye psikhologicheskie teorii v psikhoanalize. Ocherk istorii psikhoanaliza: sbornik* [The Main Psychological Theories in Psychanalysis: A Survey of Psychoanalysis History]. St. Petersburg: Aleteiia.
- Shnirelman, V.A. 2021. *Travmaticheskaia pamiat': podkhody k izucheniiu i interpretatsii* [Traumatic Memory: Approaches to Study and Interpretation]. *Sibirskie istoricheskie issledovaniia* 2: 6–29.
- LaCapra, D. 2014. *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: John's Hopkins University Press.